

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

## ВАДИМ КОЖИНОВ

Глава 13

Русская Идея

Когда Вадим Кожинов отправлялся в компании друзей в Саранск на свою первую встречу с Бахтиным, на Казанском вокзале его провожали два молодых поэта – Анатолий Передреев и Станислав Куняев.

“Мы познакомились, – вспоминал о Передрееве через много лет Кожинов, – и уже не могли расстаться целые сутки – в предзимний день 1960 года. Анатолий к тому времени ещё не создал ни одного из тех своих зрелых стихотворений, которые обеспечили ему место в любой – даже наиболее придирчиво составленной антологии русской поэзии второй половины XX века. Однако и тогда легко можно было предвидеть, что он создаст такие стихотворения”.

Более красочно и развёрнуто (смещая дату на один год) Вадим Валерианович рассказывал о знакомстве с Передреевым на вечере памяти поэта в 1997 году:

“Я познакомился с ним в 1959-м. Он только что начал жить в Москве и жадно впитывал всё. Это было даже удивительное зрелище, причём в этом не было никакой напряжённости, никакого специального стремления. Это было само собой. Мы встретились в журнале “Знамя” и не расставались в течение суток, заходили в какие-то дома, были в каких-то ресторанах... И беспрерывно шло интенсивное общение. Вероятно, во мне его заинтересовал человек московский, потому что предыдущие годы его жизни прошли в глухой провинции. Я сразу в нём почувствовал огромный потенциал. Он читал стихи настоящие, добротные, но это не был ещё Анатолий Передреев в полном смысле. Но чувствовались в облике, интонации – предельные возможности в этом человеке”.

Думается всё же, что более реален здесь год 1960-й, когда в “Знамени” готовилась кожиновская статья “Внутренняя” и “внешняя” тема в современной лирике”. Познакомились они в кабинете заведующего отделом поэзии журнала Станислава Куняева, который к этому времени уже сдружился с Передреевым – не прошло и года с момента их первой встречи на Братской ГЭС, где Передреев работал бетонщиком и куда Куняев приехал как выездной корреспондент московского журнала “Смена”.

В 1959-м в Москве, в “Литературной газете” состоялась первая заметная публикация передреевских стихов с предисловием Николая Асеева, который столь же доброжелательно ранее “благословил” Виктора Соснору

Продолжение. Начало в №№1-7, 9 за 2019 год, 1-5, 7 за 2020 год.

и Юнну Мориц. Передрееву же он настойчиво советовал: “Толя, перебейте ноги ритму!” (думал, видимо, сформировать нечто вроде “нового ЛЕФа” в новых условиях). Он же ввёл молодого поэта в “салон” Лили Брик.

А Передреев, действительно, впитывал в себя всё “московское”, как жадная губка. И с Кожинным они поистине счастливо нашли друг друга.

Когда открываются друг другу два равноправных собеседника, одержимые общим порывом познания, настроенные на одну волну, “случайное” знакомство (в котором, на самом деле, нет ничего случайного) мгновенно переходит в теснейшее взаимное притяжение, в дружбу, которая осеняет последующие годы жизни. Это не просчитывается и не предугадывается. Всё происходит в мгновения, когда скрещиваются взгляды, когда первые же слова обнаруживают подлинное родство душ. Здесь невозможно говорить даже об “общем литературном интересе”, скорее, о подлинном взаимопроникновении на поле, пропитанном флюидами великих стихотворных творений русских классиков и жгучими токами современной жизни воедино.

Что же касается Станислава Куняева, то о своём знакомстве с Кожинным, также перешедшем в теснейшую дружбу, он вспоминал так:

“Не помню, кто познакомил нас, но это было жарким июньским днём 1960 года. Светловолосый, излучающий молодое дыхание жизни — ему не было ещё и тридцати — Вадим затащил нас с Передреевым в какую-то светёлку, которую он снимал в старинном московском особняке на бывшей улице Воровского. Он недавно ушёл от своей первой жены и, празднуя холостяцкую свободу, буквально купался в череде мимолётных, но искренних романов, наслаждаясь декламацией стихов, брызгами шампанского, стихией “Цыганской венгерки”, звуку которой так естественно вырывались из полукруглых окон бывшего дворянского гнезда. “Цыганскую венгерку”, которую я услышал в тот вечер, он разыгрывал самозабвенно, как бы воскрешая быт и нравы молодых московских славянофилов, живших столетием раньше в подобных особняках. Слушая его, я тогда подумал, что он, может быть, неосознанно, но страстно, глядя в потускневшее зеркало истории, ощущает себя таким молодым Аполлоном Григорьевым, когда с кожинновским обаянием, к восторгу нашему, буквально терзая дешёвенькую ширпотребовскую гитару, восклидал волшебные заклинания, вот уже полтора века не выходящие из моды:

*Басан, басан, басана,  
Басаната, басаната,  
Ты другому отдана  
Без возврата, без возврата...*

...А может быть, я встретился с ним впервые на квартире в Лаврушинском, где он обосновался у своей второй жены — Лены и у тестя, известного идеологического критика и крупного литературного чиновника сталинской эпохи Владимира Владимировича Ермилова...

Очутившись в громадной по тем временам многокомнатной квартире, куда нас пригласил Вадим, чтобы немножко выпить и познакомиться со своим именитым тестем, я вышел в коридор покурить, да заблудился и попал на кухню, где гремела кастрюлями и тарелками домработница Ермиловых, бывшая тверская крестьянка Нюра. Она поглядела на меня неодобрительно и забормотала почти что в рифму:

— Подлый Гачев жил у нас на даче, ел, пил, жену соблазнил...

Потом мы со смехом выяснили, что Ермилов после смерти жены привёл в дом свою аспирантку Ларису — рыжеволосую пышнотелую женщину. А Вадим Кожиннов, ухаживая за дочкой Ермилова, приезжал к ним на дачу в Переделкино не один, но с компанией своих друзей — с Палиевским, Гачевым, Сергеем Бочаровым. Тут-то Георгий Гачев и закрутил роман с рыжей Ларисой. Нюре всё это было не по душе, и каждого нового молодого человека, появившегося в доме, она встречала, как заговорщика, покушающегося на честь новой хозяйки, и словно крестным знаменем отгоняла его зловещим заклинанием: “Подлый Гачев жил у нас на даче...”

Смех смехом, а Нюра была своего рода исторической личностью (я помню её нелюдимой и молчаливой, неторопливо сновавшей по кожинновской квартире уже на улице Мясковского и быстро исчезающей в своих “хозяйственных пределах”). Вот как писал о ней через много лет сам Кожиннов:

“А. П. Блохина родилась и до начала 1930-х годов жила в деревне Васильево Моршанского уезда (ныне – Пичаевский район) Тамбовской губернии, затем её семья была “раскулачена”, и ей пришлось покинуть родные места, о жизни в которых она до конца своих дней вспоминала, как об утраченной благодати. Анна Петровна сохранила изначальную нерушимую веру в Бога и до самых преклонных лет постоянно посещала храм. Слово “коммунисты” в её устах всегда имело бранный смысл, ибо они, по её представлениям, напрасно свергли царя (хотя на деле его свергли другие), порушили вековой уклад жизни и пытались уничтожить Церковь. “Ленин весь свет перевернул”, – часто повторяла она...”

И она же, свидетельница знаменитой “антоновщины”, хорошо помнила руководителя самого мятежа Александра Антонова, оставшегося в её памяти “страшным человеком”... Такого рода люди старших поколений ещё не были редкостью в начале 1960-х, но молодая генерация “детей XX съезда” относилась к ним со снисходительной насмешкой, как бы допуская их “старорежимную” жизнь рядом с собой... Красочным по контрасту в глазах молодого Кожина было сосуществование по одной крыше убеждённого коммуниста и “сталиниста” Ермилова со своей православной домработницей... Многие в её бытии и сознании станут понятным и близким Вадиму, когда он в начале 1960-х полностью отринет всю революционную идеологию, которой были пропитаны умы и уши миллионов его сверстников.

Пройдёт несколько лет, и Анатолий Передреьев, всю жизнь хранивший память о саратовской деревне – своей родине, – откуда его родители в годы коллективизации “едва-едва успели убежать”, напишет стихотворение, посвящённое Анне Петровне:

*Ты просто Нюркою звалась,  
Хотя красой — под стать царевне,  
Когда в столицу подалась  
Из голодающей деревни.*

.....  
*Хозяин — важная был птица.  
На всю столицу знаменит.  
Но не могла и вся столица  
Твоей природы изменить.*

*Ты для семьи чужой старалась,  
Вжила в неё, сроднилась с ней,  
Но всю сущностью осталась  
В деревне брошенной своей.*

.....  
*Творя добро, не захотела  
Ты здесь добра себе нажить,  
Как будто и душой, и телом  
В деревне продолжала жить.*

*Верна простым её заветам  
Так много лет, так много дней...  
Хотя давно на свете этом  
Деревни не было твоей.*

... И Станиславу Куняеву, и Анатолию Передреьеву оказывал покровительство и поддержку Борис Слуцкий. Не без его содействия передреьевские стихотворения были представлены Асееву и напечатаны в “Литературной газете”. Он же стал редактором первой московской книжки Куняева “Звено”, которая почти вся была пронизана “слуцкими” ритмами и “слуцкой” интонацией (а в иных случаях сказывалось и влияние поэтики Леонида Мартынова и Ильи Сельвинского). В эту книжку вошло, в частности, напечатанное двумя годами ранее в “Дне поэзии” знаменитое “Добро должно быть с кулаками...”

Собственно говоря, это была вариация на заданную тему. Михаил Светлов (ещё один кумир поэтической молодёжи тех лет) предложил нескольким поэтам – среди которых был, в частности, Евтушенко, – написать по стихотворению, начинающемуся с этой строки. Поэты выполнили задание, и потом

все опубликовали написанное, но “хрестоматийным”, тут же зацитированным, запародированным стало именно куняевское стихотворение: ни одна из вариаций его “собратьев” не вобрала в себя столько энергии, не была воплощена с такой чёткостью и отточенностью формы и смысла. Да и само по себе оно абсолютно гармонировало с тем, что читалось тогда у памятника Маяковскому и в Лужниках, — было более чем евтушенко-рождественско-вознесенское.

*Добро должно быть с кулаками,  
добро суровым быть должно,  
чтобы летела шерсть клоками  
со всех, кто лезет на добро.*

Вся книжка “Звено” была пропитана интонациями её редактора Слуцкого, в отдельных стихотворениях слышался голос Леонида Мартынова, и сквозь эти напластования пробивались собственные ноты, которые возьмут своё уже в книге “Метель заходит в город”, которая выйдет в свет через четыре года.

*Мои учителя устали,  
им доставалось трудновато,  
они устали, как детали,  
по всем законам сопромата.*

Эти строки вызвали недовольный окрик Сельвинского в “Литературной газете”, для которого сама по себе предполагаемая возможность выхода из-под влияния рационалистической поэтики (свойственной и ему самому, и Мартынову, и Слуцкому) представлялась тяжёлой “крамолой”... Кажется, он не знал куда более резких куняевских строк на эту же тему:

*Я предаю своих учителей,  
поэтов из другого поколенья.  
Довольно, я устал от поклоненья,  
я недоволен робостью своей.*

И ещё большую “бурю” наверняка вызвали бы строки стихотворения Куняева, написанного через два-три года после “Добра с кулаками”, будь они в то время опубликованы:

*Постой. Неужто? Правда ли должно?  
Возмездье, справедливость — это верно,  
пожалуйста, но только не добро,  
которое бесцельно и безмерно.*

*Недопустима путаница слов,  
подмена силлогизмов и понятий...*

По существу, это был расчёт с целым комплексом чувств и идей, которыми на протяжении нескольких лет был обуреваем молодой поэт, и едва ли этот расчёт состоялся бы в столь короткое время и был бы настолько решителен, если бы к этому времени Куняев не обрёл задушевных друзей и мудрых страстных собеседников в лице Вадима Кожинова, Анатолия Передреева, Владимира Соколова...

О Владимире Соколове речь особая.

Где и когда он познакомился с Вадимом Валериановичем? Документальных свидетельств тому не осталось, но с уверенностью можно сказать, что к концу 1950-х его стихи стали частью кожиновской жизни.

Рядом с проникновенной точностью, глубиной и многослойностью соколовских строк раскрашенной фанерой представлялись изделия “повсеградно обэкрашенных” эстрадников всех мастей с их отточенными формулировками на все случаи жизни.

Для Соколова тайной была сама жизнь, само человеческое бытие — и каждая строка была лишь попыткой приблизиться к ней:

*Паровик. Гудок его глухой.  
Ночь. Платформа. Думы об одном.  
Снег метался, тонкий и сухой,  
Железнодорожным полотном.*

.....  
*Мост был выгнут через полотно.  
Кто-то шёл по этому мосту.  
Шёл незримо в клубах дыма, но  
Сбоку луч вонзился в темноту.*

.....  
*Паровик прогрохал под мостом,  
Электричка встречная прошла.  
И исчезла в воздухе пустом  
Тень, что дымом поймана была.*

*Я не знал, что делать мне с тоской  
О часах текучих... А кругом  
Снег метался, тонкий и сухой,  
Задыхался и бежал бегом.*

*Только я запомнил не его.  
Свет, и дым, и чью-то тень навек.  
И не знал об этом ничего  
Тот, мостом прошедший, человек.*

И вечность, и современность, и само человеческое бытие, воплощённое вроде бы в мимолётных приметах времени, — вот что властно притягивало к себе в поэзии Соколова его новых друзей.

*Всё открыто пристальному взору —  
Дно речное, паутинки нить.  
Очень любит осень в эту пору  
Отобрать, отсеять, отцедить...*

*И, следя за днём, за цепью уток,  
В час такой, давно ли слеп и глух, —  
Я и сам, как это утро, чуток,  
Обращённый в зрение и слух.*

*Я ловлю, раскидываю сети,  
Только вовсе мне не до игры.  
Я и сам как будто на примете  
У большой и пристальной поры.*

*Я молчу, тревогою объятый:  
Эта осень видит всё насквозь...*

Эти стихи 1956 года Кожинов выделил как одно из лучших поэтических творений этого времени, где поэт стремится разгадать себя в эпохе и эпоху в себе, а не вплести свой голос в хор “всезнающих” и “всеопределяющих”.

Поэтический дар Соколова уже к концу 1950-х годов был признан практически всеми, кто имел какое-либо отношение к поэзии. Его приветствовали и старшие, и ровесники. На него слегка снизу вверх смотрел и Евтушенко, естественно, до поры до времени этого не обнаруживая. Но в начале 1960-х положение дел резко изменилось.

Ко времени знакомства с Кожиновым Соколов был уже автором трёх книг и обладателем репутации тонкого проникновенного лирика. Он начал писать в конце 1940-х, в первоначальную свою студенческую пору, словно минуя стадию какого бы то ни было ученичества. Конечно, в его стихах время от времени слышались ноты и Есенина, и Пастернака, и Заболоцкого, и Твардовского, и Смелякова, и Межирова, но при всём при том его “лабораторные”,

“ученические” опыты фактически остались за пределами вышедших сборников. Он писал много и вдохновенно, насыщая стихи приметами современности, но насыщая так, что эти приметы никогда не резали глаз (в отличие от стихотворений десятков и десятков тогдашних стихотворцев), растворяясь в общей гармонии человеческого и природного мира, воплощённого в его стихах с одухотворяющей пронзительностью.

Кожинова неудержимо влекло к стихам Соколова, где мир городской окраины и самого города существовал в равновесии с человеческой и природной субстанциями, где трава, дерево, снег и дождь жили в городском мире своей жизнью, органически вписанной в мир, где сугубо городские и ещё не изжитые временем “окраинные”, “мещанские” приметы существуют как единое целое, обнимающее человеческое существо, сообщающее ему то обострённое чувство жизни, времени, судьбы, всего, что составляет смысл бытия.

*Из переулка сразу в сон  
Особняков, в роман старинный  
И к тишине на именины,  
Где каждый снами угощён.*

*Из переулка сразу в тишь  
Ещё торжественней и глубже,  
Где тает лист, где блещут лужи,  
Где каплет с порыжелых крыш.*

.....  
*Мы жили здесь без гроз, без слёз,  
Средь ветхих стен — на слух, на ощупь.  
Однажды вышли мы на площадь,  
Нас ветер в стороны разнёс.*

И ещё одно невозможно было не увидеть пристальному взгляду, не услышать обострённому слуху в стихах Соколова, то, о чём Кожинов написал десять лет спустя: “В стихах Соколова... нет ярко выраженной манеры, но нет её как раз потому, что поэт создал подлинный стиль, который невозможно определить по нескольким очевидным внешним приметам, ибо его основа залегает в самой глубине творчества... В поэтической форме, как и в содержании, Владимир Соколов никогда не опирается на мимолётные и случайные приметы времени, так, у него — за исключением прямой речи тех или иных лиц — нет и следа каких-либо сиюминутных жаргонных словечек и оборотов... Владимир Соколов более, чем кто-либо другой, создаёт доподлинную живую ткань современного поэтического стиля. В этот стиль органически, незаметно внедряется архаика и последние языковые новации, речения возвышенного толка и непритязательные житейские обороты. Но главная его черта — жизненность, способность к постоянному развитию и плодотворному обновлению, не отменяющему прежнее, а прорастающему уже на сложившейся почве”.

Как бы “поперёк” времени возникали иные стихи Соколова, в которых, по сути, современность органически входила в поток Большого Времени и словно замирала перед очередным “рывком”...

*Всё как в добром старинном романе,  
Дом в колоннах и свет из окна.  
Липы чёрные в синем тумане,  
Элегическая тишина.*

*В купах вымокших — шорох вороний.  
Тихо плавают листья в пруду.  
Что за чёрт, я совсем посторонний  
В этом жёлтом, забытом саду.*

.....  
*Но с какой-то навязчивой грустью  
Лезет в душу мне сырость колонн  
И в садовом своём захолустье  
Позабитый людьми Аполлон.*

А в 1960 году им, в пору оглушившей всё и вся поэтической эстрады, было написано стихотворение, о котором вспомнили, которое читалось и цитировалось десяток лет спустя, а тогда оно осталось практически незамеченным:

*Вдали от всех парнасов,  
От мелочных сует  
Со мной опять Некрасов  
И Афанасий Фет.*

*Они со мной ночуют  
В моём селе глухом.  
Они меня врачуют  
Классическим стихом.*

*Звучат, гоня химеры  
Пустого баловства,  
Прозрачные размеры,  
Обычные слова.*

*И хорошо мне... В долах  
Летит морозный пух.  
Высокий лунный холод  
Захватывает дух.*

Это стихотворение было посвящено Юзику Алешковскому – неизменному гостю кожиновского дома и собутыльнику весёлой дружеской компании.

\* \* \*

С Вадимом Кожинным, Анатолием Передревым, Станиславом Куняевым Соколов сошёлся в крайне непростое для себя время. В 1955 году он заключил брак с болгаркой, выпускницей философского факультета МГУ Хенриеттой Поповой, ушедшей ради Владимира от своего первого мужа. Новая семья поселилась в писательском доме в Лаврушинском переулке, родились сын и дочь. Соколов много переводил с болгарского, жил, фактически, на две страны... А потом произошла трагедия.

Хенриетта Попова без памяти влюбилась в Ярослава Смелякова, который был старше её на добрых 12 лет. Человек сложнейшей судьбы (он, начиная с 1930-х годов, имел, кроме “финского” плена, три лагерные “ходки”) и сложнейшего характера, он обладал непререкаемым авторитетом в поэтическом сообществе. Те, кого признавал Смеляков, знали: это серьёзно. Его мнение ценилось, как мнение немногих поэтов в ту эпоху... Никто не мог сказать, когда у Ярослава Васильевича всё “закрутилось” с Хенриеттой, но об этом романе шёпотом судачили в литературной Москве – и только Соколов долгое время ничего не знал. Потом он рассказывал матери и сестре: “Буба (так Соколов называл свою жену. – **С. К.**) сказала, что уходит от меня к Смелякову, что она меня не любит, а любит его. После того, как он отправил меня в командировку в Братск, он пришёл к ней домой, тогда у них всё и началось... Стала рассказывать все детали... Я просил её: не рассказывай! А она всё говорит и говорит... Я ушёл... И вот пришёл к вам”.

Этот тяжёлый разговор состоялся 31 марта 1961 года. После ухода мужа Попова отправилась прямо к Смелякову. Дверь ей открыла Татьяна Стрешнева, жена Ярослава Васильевича.

Смеляков явно не ждал прихода любовницы. И, очевидно, чтобы сгладить ситуацию, намеренно вышел из себя. Наговорил “Бубе” оскорблений и послал её куда подальше. Та, потрясённая, видимо, уже в полувменяемом состоянии вернулась домой и не смогла войти – забыла ключи в квартире. Как раз появились заранее приглашённые гости Александр Межиров и Галина Евтушенко (жена поэта). Их всех вместе с Хенриеттой позвала к себе проходившая мимо жена писателя Василия Ажаева. “Бубу” отвели в отдельную комнату и уложили отдохнуть – её поведение показалось собравшимся весьма

странным. Отдыхала она недолго — подошла к окну, распахнула его настежь и выбросилась на московский асфальт.

*Ты камнем упала, я умер под ним.  
Ты миг умирала, я — долгие дни.  
Я всё хоронил, хоронил, хоронил  
Друзьями — меня выносили они.  
За выносом тела шёл вынос души.  
Душа не хотела, совала гроши.  
А много ли может такая душа,  
Когда и у тела уже ни гроша...*

Эти стихи были написаны в 1963-м.

Одновременно с личной трагедией Соколов переживал нешуточную драму в своей литературной жизни. Две книги, “Трава по снегом” и “На солнечной стороне”, вышли на рубеже 1950–60-х годов, когда лучшие стихи его этого времени практически не были услышаны. “Эстрада” заслонила собой всё остальное поэтическое пространство. Стихи Евтушенко, Вознесенского, Рождественского, Окуджавы, перипетии их биографий, каждый их жест и поступок мгновенно становились предметом печатных и устных дискуссий, обсуждений, похвал и ругательств. Создавалось ощущение, что кроме них в современной поэзии нет никого. Во время съёмки фильма “Застава Ильича” рядом с ними ещё зримо присутствует Слуцкого и Светлова (талантливого поэта Сергея Поликарпова, чьё выступление тогда сорвало самые бурные аплодисменты, режиссёр Марлен Хуциев из фильма вырезал). А в недавно снятом фильме “Таинственная страсть” рядом с ними не присутствует вообще ни один поэт.

Скандал вокруг евтушенковских “Наследников Сталина” и “Бабьего Яра”, кажется, был самым запоминающимся событием литературной жизни. Истерики Хрущёва на Вознесенского во время встречи деятелей искусства с членами правительства, кажется, заглушил собой все остальные звуки. Само собой разумеется, подлинная гражданственность, — а это подавалось как главное поэтическое качество, — виделась исключительно в творчестве выше-названных “звёзд”, их многочисленных последователей и подражателей.

Две книги Соколова стали предметом изощрённого издевательства — первую скрипку играла здесь критикесса Алла Марченко на страницах “Вопросов литературы”. Соколов был уличён в “отрыве от современности”, “мелкотемье”, “душевной опустошённости”, а его лирический герой, оказывается, “нисколько не стыдится ни своей слабости, ни своего безволия...”, более того — “публично признаётся в грехе Клим Самгина... заявляет, что ему нравится спокойная и медленная жизнь — “окраина” с жирными фикусами и чистенькими занавесками”... Естественно, этой “позиции” противопоставлялась “позиция вмешательства, вторжения, ответственности”, которую выражали, по мнению воинствующей “шестидесятницы”, такие стихотворцы, как Владимир Гордейчев, Римма Казакова, Владимир Британский, Майя Борисова... И занятая “деталь”: невзирая на все “разгромы”, ни Евтушенко, ни Вознесенский никогда не испытывали никаких недостатков в публикациях, несмотря на все их позднейшие воспоминания о лютых “гонениях”. Более того, вокруг них лишь накалялся интерес, который и так был всеобъемлющим. Соколов же после учинённой над ним экзекуции “по-тихому” на два года “выпал” из поля зрения редакторов. В 1963 году он опубликовался всего четыре раза — причём все публикации приходятся на журнал “Литературная Грузия” и альманах “День поэзии”, а в 1964-м — два раза, и обе публикации состоялись в тех же изданиях.

В своём новом кругу Соколов лечил душу в долгих дружеских беседах, чтении стихов классиков, чтении и разборе стихов друзей... И Передреев, и Куняев признавали тогда его безусловное первенство и во многом с его помощью подходили каждый к своему порогу, за которым начиналось настоящее творчество. Наиболее взаимоотношения у Соколова сложились с Передреевым, с которым они ещё обмениваются стихотворными посланиями.

Для Кожина обретение новых друзей стало ещё одним чрезвычайно значимым событием в жизни. Елена Владимировна Ермилова вспоминала,



что постепенно с выходом одного за другим томов “Теории литературы” стало не то чтобы распадаться, но ослабевать дружеское единение “четырёх мушкетёров” “Теории...” Пока выходили тома, пока Кожинов бился за бахтинские книги, пока работы друзей пристрастно и жёстко обсуждались на страницах “Вопросов литературы”, “Октября” и других изданий, где молодые теоретики вступали в ожесточённое противостояние с Геннадием Поспеловым, Вадимом Назаренко (хамовато нападавшим на Кожинова ещё в 1952 году), Петром Строковым, Анатолием Дрёмовым и другими оппонентами, они ощущали себя единым целым. Палиевский откровенно высмеивал навязанный им стиль полемики: “Разные мнения о “Теории...” были совершенно уничтожающими по отношению друг к другу. Один товарищ взволнованно говорил, что весь этот труд посвящён принижению роли сознания. Другой решительно осуждал авторов за последовательное и упорное преувеличение роли сознания. Одно выступление разоблачало примитивное понимание художественного образа как прямого отражения форм самой жизни, понимание, которое, по мнению выступающего, составляло почву труда; в другом, где вскрывались причины, почему эта книга не удалась, был сделан вывод, что не удалась она из-за открытого пренебрежения мыслью революционных демократов об искусстве как отражении жизни в формах самой жизни и пр. Вряд ли такая критика — будто бы с разных сторон, но, по существу, единая в желании “вскрыть” — убедительна: критикующие рискнут лишь встретиться, нагнув головы, на критикуемом предмете, как на мосту, и им придётся уступать друг другу дорогу...”

Общее дело подходило к концу, связывающие нити истончались. И Гачев, и Бочаров десятилетия спустя делились уже обрывочными воспоминаниями о Вадиме Валериановиче, о его жизни за пределами работы на “Теорией...”. Интенсивное общение с Палиевским сохранялось, но переходило уже в иную стадию и обрело иные тональности. Чем дальше, тем больше Вадимом Валериановичем овладевало психологическое утомление от собственно теоретических проблем — и всё более властно влекло его к себе живое поэтическое слово. Путь теоретика завершался, начинался путь критика и историка литературы.

Здесь он и обрёл новых друзей и собеседников. И в 1962 году в их кружке появился новый поэт, младший по возрасту, как и Передреев, студент Литературного института.

Звали его Николай Рубцов.

Он появился в журнале “Знамя” с подборкой стихов. Станислав Куняев мгновенно выделил несколько стихотворений, в частности, “Доброго Филю”, но ни главный редактор, ни его заместители, что называется, “не тронулись”. Сочи представленную подборку “неактуальной”.

Но в обществе Кожинова, Передреева, Соколова Рубцов нашёл поистине благодарных и одновременно требовательных читателей и слушателей. Анатолий Передреев, человек абсолютного поэтического слуха и безупречного вкуса, стал своего рода “наставником” Рубцова, который и годы спустя признавал безусловное право своего друга на “учительство”.

Контраст между ними внешне был разительным. Высокий, статный красавец с шапкой льняных волос Передреев — и низенький, лысоватый, совершенно не “представительный” Рубцов, словно “съжившийся” на его фоне... И совершенно иная картина предстала бы перед глазами постороннего наблюдателя, который застал бы Рубцова в товарищеском кружке за чтением стихов.

“Все, кто слышал стихотворения Николая Рубцова в его собственном исполнении, — вспоминал Кожинов, — вероятно, помнят, как, увлекаясь чтением, поэт сопровождал его характерными движениями рук, похожими на жесты дирижёра или руководителя хора. Он словно управлял слышимой только ему звучащей стихией, которая жила где-то вне него, — то ли в недрах родной речи, то ли в завываниях ветра и лесном шуме Вологодчины, то ли в создаваемой веками музыке народной души, музыке, которая существует и тогда, когда никто не поёт...”

И тогда все обращались в слух. И сам Передреев смотрел на Рубцова, как на живое чудо.

*Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно  
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!  
Пустынно мерцает померкшая звёздная люстра,  
И лодка моя на речной догнивает мели.*

*И храм старины, удивительный, белоколонный,  
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей, —  
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,  
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!..*

*О, сельские виды! О, дивное счастье родиться  
В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!  
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,  
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!*

*Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,  
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,  
Что, всё понимая, без грусти пойду до могилы...  
Отчизна и воля — останься, моё божество!*

*Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!  
Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!  
Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы  
Старинной короной своих восходящих лучей!..*

...Сравнительно недавно Кожинов озвучил новую поставленную перед собой задачу: заниматься разработкой русской национальной идеи. И вот теперь эта идея на его глазах обретала словесную плоть, музыку, единый исторический смысл.

Соединялась столь вожделенная им связь времён. И соединял её уже не один старший современник Бахтин, что родом из XIX века. Она воплощалась в стихах поэта, что на несколько лет был моложе него самого, — ему ещё не исполнилось и тридцати.

“Ясно помню, — писал Кожинов полтора десятилетия спустя, — как с самого начала из стихов Николая Рубцова, написанных до приезда в Москву, его собратья по кружку решительно выделили те, — кстати сказать, очень многочисленные — стихотворения, которые, как стало ясно позднее, предвещали дальнейшее зрелое творчество поэта. Это были, прежде всего, “Добрый Филя”, “Осенняя песня”, “Потонула во тьме...” с её гораздо более глубоким, чем во многих других ранних стихах, драматизмом и “Видения на холме” (“Взбегу на холм и упаду в траву...”), — между прочим, значительно переработанные уже в Москве... Поистине восторженно были встречены в кружке такие новые стихи Рубцова, как “В горнице...”, “Прощальная песня” (“Я уеду из этой деревни...”), “Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...”. Эти стихотворения звучали почти на каждой встрече Николая Рубцова с друзьями — первые два он покоряюще напевал под гармонь или под гитару, третье с замечательной выразительностью декламировал... подкрепляя мелодику голоса напряжённым движением рук...”

Позволительно и мне будет соединить здесь свой голос с голосом Вадима Валериановича. Я видел Николая Рубцова несколько раз, когда он приезжал в Москву и останавливался в квартире отца на 2-й Аэропортовской (иногда и жил там по несколько дней). Но одна сцена врезалась в память, что называется, намертво.

Это был, кажется, 1965 год. В отцовском доме, как это частенько тогда бывало, собралась шумная компания. Хорошо помню Передреева, Кожинова, кажется, был и Соколов, и старый калужский приятель Станислава Юрьевича Борис Горелов... Шёл шумный разговор, в памяти от которого осталось лишь общее звуковое впечатление... И лишь один гость не принимал участия в этой довольно громкой беседе. Худощавый, небольшого роста человек сидел в углу на диване, держа на коленях простенькую отцовскую гитару, и перебирал струны. Я, сидевший на другом конце дивана, прислушался и услышал глуховатый напев:

*Рукой раздвинув тёмные кусты,  
Я не нашёл и запаха малины,  
Но я нашёл могильные кресты,  
Когда ушёл в могильник за овины...*

Что-то знакомое послышалось мне тогда в этом напеве... Через какое-то время я понял, что напетое неизвестным мне человеком перекликается с мотивом старой песни, которую напевала мне моя матушка: “Послали меня за малиной, малины я там не нашла. Нашла я там крест над могилой, которая травой поросла...”... Уже через много лет я, зная, что это был Рубцов, понял: я стал невольным свидетелем творческого акта, когда поэт, отрешившись от всего внешнего – в том числе и от беседы своих друзей, – не музыку подбирал к стихам, а искал продолжение внутренней мелодии, на которую ещё не легли извлекаемые из небытия слова, преобразовавшие в подлинный шедевр стихотворение, начинавшееся как вариация на тему мещанского романа.

*И так в тумане омутной воды  
Стояло тихо кладбище глухое,  
Таким всё было смертным и святым,  
Что до конца не будет мне покоя.*

*И эту грусть и святость прежних лет  
Я так любил во мгле родного края,  
Что я хотел упасть и умереть,  
И обнимать ромашки, умирая...*

Смерть и святость... Грусть и святость... И, кажется, эта грусть и эта святость не дадут покоя и после ухода за грань земного бытия.

\* \* \*

Существование этого дружеского кружка долгое время в литературном мире воспринималось если не как должное, то с неким опасливым интересом: что за странные люди (конечно, талантливые), которые решились ещё в начале 1960-х пойти против “общего течения”... Причём естественно, без шума и надрыва, в отличие от других – небесталанных – поэтов, таких как Владимир Фирсов, Владимир Цыбин, Игорь Кобзев, Владимир Котов, Валентин Сидоров, которые вознамерились бороться с поэтами “эстрады” “эстрадными” же приёмами и заклинаниями.

“Жить бы мне, на ромашках гадая, // зная дело, сжимая перо...” – писал Владимир Соколов, и, кажется, это был максимум требований от жизни друзей по лире.

Но когда с годами вокруг дружеского поэтического соединения начали клубиться разного рода недобросовестные (а сплошь и рядом и недостоверные) слухи и сплетни, сам Кожин счёл нужным написать – нет, не мемуары, а, скорее, портрет того “поля”, в котором сформировались поэты, ежeminутно жившие напряжённой духовной жизнью, делавшие своё “дело”:

“Очень трудно или, пожалуй, даже невозможно наглядно показать творческую жизнь поэтического кружка, ибо она складывается из мелких и незначительных по видимости подробностей. Но тот или иной диалог, отдельное слово, даже просто молчание были подчас необычайно весомыми. Главное заключалось в единой творческой позиции участников кружка – твёрдой, бескомпромиссной и в то же время лишённой какого-либо догматизма и сектантства. Ими всецело владела идея русской Поэзии, притом вовсе не в эстетически замкнутом, книжном смысле, но поэзии, воплощающей жизнь человека и народа во всей её глубинной сути.

Творения Пушкина и Тютчева, Лермонтова и Некрасова, Фета и Полонского, Блока и Есенина были для Николая Рубцова и его братьев не “литературными фактами”, но именно глубочайшими воплощениями духовной жизни русского народа и русского человека, – а значит, прообразами их собственной

духовной жизни. Они никак не отделяли поэзию от жизни в её сущностной основе и потому были свободны от какой-либо литературщины.

С другой стороны, именно это глубокое проникновение в классическую поэзию и подлинное овладение ею, о-свое-ние её (то есть превращение её действительно в своё достояние) и делало Николая Рубцова и его братьев настоящими людьми культуры, а не поверхностными её потребителями, способными лишь щеголять “информированностью”. Все, кто знал Николая Рубцова, помнят, что он постоянно пел на свои собственные бесхитростные мелодии стихи Тютчева, Лермонтова, Блока — нередко, между прочим, “Брат, столько лет сопутствовавший мне...” Тютчева. Это пение, я полагаю, было для него способом полного, предельно родственного освоения классической поэзии, дело которой он стремился и действительно смог продолжить”.

“Дело”, о котором писал Владимир Соколов, Кожинов впоследствии определил как стремление “к тому, чтобы в полной мере возродить, воскресить заветы русской классической поэзии, усматривая в этом отнюдь не собственно литературную, а жизненную, бытийственную задачу”. Те, кто не по книгам, а “по жизни” знают атмосферу 1960-х, согласятся: эта задача была не просто труднейшая, она, если угодно, противоречила всеобъемлющей тогдашней “философии жизни”, отпечатавшейся в броских лозунгах “Мы родом из Октября”, “Мы — дети XX съезда” и, соответственно, нашедшей своё воплощение в прозе, поэзии и критике так называемого “шестидесятичества” (статья очень либерального критика Станислава Рассадина “Шестидесятники”, опубликованная в 1960 году в “Юности”, — точнее, её заглавие — стала своеобразным паролем целой генерации, паролем, сохранившимся до наших дней).

“Почему мы отказываемся от наследства 60-х годов?”, — слегка прищуривая глаза через стёкла роговых очков, насмешливо цитировал Кожинов Розанова, самой цитатой отрицая всю утилитарность времени и литературы, порождённой им, в новую эпоху, в эпоху 60-х XX века. Он буквально издевался над зацитированной строчкой Евтушенко, которой тот открыл свою “Братскую ГЭС”: “Поэт в России больше, чем поэт”, — говоря, что здесь сказалось потрясающее невежество стихотворца: в одной этой строке он умудрился унижить и поэзию, и Россию.

Чрезвычайно интересно посмотреть на поведение Кожинова не внутри “кружка”, а в среде, по сути, чужих ему людей, когда он появлялся там рука об руку с Рубцовым. Сохранились чрезвычайно интересные воспоминания Владимира Алейникова, тогдашнего участника неофициальной поэтической группы СМОГ (как расшифровывали аббревиатуру сами её изобретатели — “Смелость. Мысль. Образ. Глубина” или “Самое Молодое Общество Гениев”). Гениями они считали себя на полном серьёзе при всём эпатаже их поведения (шествовали, в частности, толпой к Центральному дому литераторов, держа над головой лозунг: “Лишим соцреализм девственности”). Гением, без всякого юмора, считал себя действительно способный поэт Леонид Губанов, о котором Давид Самойлов, правда, писал в своём дневнике, что тот “выглядит отвратительным фашистом”.

... Итак, однажды Кожинов и Рубцов, встретившись с молодым прозаиком Андреем Битовым, который Кожинова очень высоко ценил, отправились на день рождения к Алейникову (Битов направлялся туда и пригласил с собою друзей).

А дальше — слово Алейникову.

“На трамвайной остановке пришлось мне довольно долго стоять и ждать своих запаздывающих гостей.

Наконец, увидел я знакомые фигуры — Андрея, несколько набычивавшегося, то наклонявшего крупную голову вперёд, то откидывавшего её назад, куда-то за плечи, на спину, по привычке державшегося прямо, и его жены Инги Петкевич в вихре рыжих волос, весело и громко ржущей, хохочущей.

Но с ними вместе были и незнакомые люди.

Один из них, довольно высокий, худой, очкастый, держался вроде бы с некоторой отстранённостью от всего, что происходило рядом, но одновременно и так, будто всё вокруг вертелось именно вокруг него, как вокруг оси, то есть чувствовал себя, похоже, главным, осознавал себя хозяином положения. Почему я это сразу же увидел и отметил? Не знаю. Но первое впечатление всегда самое верное.

Второй, маленький, тщедушный, совсем уж хлипкий какой-то, находился будто бы в тени высокого, худого, очкастого. Видно было, что он старался далеко от этого высокого не отходить, вообще — держаться поближе, почти вплотную. И когда он удалялся от этого высокого, — несомненно, того, от которого он зависел, покровителя, даже, может, хозяина, — хотя бы на небольшое расстояние, то тут же оглядывался назад, замедлял шаг и норовил опять прибиться поплотнее к высокому, притулиться к нему. На плече этот маленький держал гитару.

Создавалось впечатление, что этот пока что не известный мне высокий вёл ещё не известного мне маленького, как собачонку, на поводке.

Вся компания двинулась ко мне. Все они были навеселе.

Андрей и рыжегривая Инга шумно поздоровались со мной.

Потом Андрей представил меня незнакомцам:

— Это Володя Алейников, замечательный поэт. Прошу любить и жаловать. У него сегодня день рождения. Мы пришли к нему в гости.

Произнеся своим артистическим голосом эту рядовую тираду, Андрей представил мне высокого и маленького незнакомцев.

Поначалу — высокого:

— Вадим Кожинов.

Церемонно и сухо, чуть-чуть, всего лишь на полсекунды, склонив голову и тут же выпрямив её, Кожинов пожал мне руку.

Потом — очередь дошла и до маленького:

— Николай Рубцов.

Скорчив почему-то гримасу, маленький небрежно, как смятый газетный кулёк с закусью где-нибудь в пивной, протянул мне влажную, скрюченную ладонь и тут же отдернул её, словно боясь обжечься.

— Вот и познакомились! — резюмировал Битов. — Ну что, куда идти? Пора, пора праздновать. Мы запоздали, конечно. Ты уж извини, Володя. Но зато и у нас тут кое-что есть с собой.

В карманах и сумках у компании выразительно звякнули бутылки спиртного.

Я повёл их за собой.

Они поднялись вслед за мной по скрипучей лестнице наверх, вошли в Лялину квартиру, их встретили там достаточно приветливо, но что-то сразу же здесь изменилось.

Что-то нарушилось. Почему?

Нарушилось, и всё тут.

Я чувствовал вторжение чужеродной энергии.

Новые гости разместились за столом.

Достали принесённые бутылки.

Немедленно принялись их открывать.

Полилась в стаканы водка.

Свою дешёвую, глухо, обиженно звякнувшую струнами гитару, доселе закинутую на узкое плечо, Рубцов сразу же прислонил к стене позади себя.

Он придвинул свой стул поближе к столу.

Его сейчас интересовало только одно — водка.

Он вожацки смотрел на стаканы, наполняемые Битовым.

Получилось так, что пришедшая компания расположилась за столом напротив нашей.

Верховодил в компании Кожинов.

Он сидел посередине, и с одной стороны от него сидел Битов, а с другой — Инга.

А вроде бы и здесь же, но как-то в сторонке всё же, сидел Рубцов.

Гости наполнили стаканы, подняли их — и, произнеся краткий тост в мой адрес, осушили их.

Мы все вынуждены были привыкать к их присутствию в Лялиной квартире.

Я подумал, что им, в сущности, наплевать было и на мой день рождения, и на всех нас, если не Андрею с Ингой, такое вряд ли могло быть, то уж точно — Кожинову с Рубцовым.

Но поскольку Битов с женой пришёл с ними, то и эти питерские люди, считавшиеся моими друзьями, оказывались в другой команде, не нашей, а кожиновской.

Да так оно и было.

Вначале они просто выпивали и закусывали, весьма обособленно, с некоторым вызовом даже, что и было всеми нами незамедлительно замечено и как-то неприятно резануло, по живому.

Наташа Горбаневская встала из-за стола и вышла в соседнюю комнату.

Вслед за нею вышла Наташа Светлова.

За Светловой вышел и я.

Наша хозяйка, Ляля, растерянная, покрасневшая, пыталась не замечать неприятных для неё черт в поведении совершенно незнакомых ей, озадачивающих, чужих людей – Кожинова и Рубцова.

На Битова с Ингой она, знавшая, кто это, время от времени поглядывала, будто надеясь, что вот-вот они сумеют всё смягчить, уравновесить.

Наташа Кутузова молча курила.

А Виталик Гладкий сразу понял всё.

Губы его, как это с ним в подобных ситуациях всегда бывало, сжались, образуя направленную концами вниз твёрдую подковку.

В его глазах за стёклами очков с большими диоптриями разгорелся огонь негодования.

Он весь напрягся, помрачнел.

Видно было: в случае чего – он за словом в карман не полезет.

Он оглянулся на меня.

Издали я сделал ему знак, чтобы потерпел, подождет.

Он хмыкнул и нехотя качнул головой.

Потом налил себе в рюмку немного “Плиски” и залпом выпил.

В соседней комнате я подошёл к моим подругам Натальям – Светловой и Горбаневской.

Наташа Горбаневская стояла бледная, нервно курила.

– Кто это такой, тот, высокий, в очках? – спрашивала её Наташа Светлова.

– Как? Ты не знаешь? – вскинула на неё близорукие, огорченно моргающие глаза Горбаневская. – Это же Кожинов!

– Кто? – удивлённо переспросила Светлова.

– Ну, Кожинов, Кожинов. Тот самый. Ну, вспомни!

– Ах, тот самый Кожинов? – Светлова вспомнила. – Ну и что? Раз пришёл, так пусть уж сидит. Что делать?

Выдержке её можно было позавидовать.

– Милые мои дамы! Никто его сюда не звал! – грустно сказал я. – И Кожинов, и Рубцов пришли с Битовым. Некстати, конечно, всё это. Больше того: зачем? И мне-то – каково теперь?

– Не огорчайся, Володя! – утешила меня Наташа Светлова. – И не такое бывает.

– Вот уж точно! – вздохнула Наташа Горбаневская.

– Пойдёмте-ка за стол! – решительно сказала Светлова. – Будем отмечать Володин день рождения.

И мы троём вернулись за стол.

Вечер наш продолжался.

Уж так, как сложился.

На противоположной стороне стола шла обычная, заурядная пьянка. Там – говорили всё больше о своём, непонятном для нас.

На нашей стороне шло тихое застолье.

Кожинов обратился вдруг ко мне:

– Сколько вам лет исполнилось, Володя?

– Двадцать один, – ответил я.

– Моей дочке почти столько же! – сказал Кожинов. – И что же, стихи пишете?

– Пишу, – сказал я.

– Почитаете нам?

– Почитаю, пожалуй, – сказал я ему. – Но только сегодня – мой день рождения. Поэтому, раз уж вы привели его с собой, пусть вначале почитает Коля Рубцов. Потом, надеюсь, почитает Наташа Горбаневская, замечательный поэт. А после Наташи почитаю и я.

Андрей Битов с интересом слушал меня. Его, видно, удивило такое распределение очерёдности чтения.

– Володя Алейников – гениальный поэт! – сказал он, обращаясь к Кожинову.

– Ну-ну, – сказал Кожинов, – посмотрим, послушаем.

– Ладно тебе, Андрей! – отмахнулся я. – Ты уж прямо этак патетично, категорично заявляешь. Не смущай меня.

– А я так считаю! – заявил Битов, обращаясь опять-таки к Кожинову.

Тот сделал каменное лицо.

– Володя – гений! – воскликнула Инга, встряхнув рыжей гривой. – Мы у нас дома, в Питере, читали вслух его стихи, целых две книги. И все в восторге были. И даже письмо ему тогда же написали и отправили. Было письмо? – спросила она меня.

– Было, – сказал я.

– Ну вот! – Инга радостно заржала. – Было.

– Ребята, – сказал я им, – хоть у меня и день рождения, но мне, поверьте, неловко такое слушать.

Рубцов сидел, надувшись. Молчал.

Что-то было в облике его от подростка, что-то – от старичка.

Рубцов молчал – будто ждал какой-то команды.

И такая команда последовала.

– Коля! – обратился к нему Кожинов. Обратился ласково, мягко. Но – требовательно, – Коля! Почитай нам. Ты же такой хороший, просто замечательный – русский поэт. – Кожинов сделал сознательное ударение на слове “русский” и покосился на нашу сторону стола. – Почитай, Коля! Надо читать!

Рубцов, не глядя, протянул вперёд руку к бутылке с водкой, налил себе полный стакан, выпил его, поставил на стол, вытер длинноватым для его руки, широким раструбом, прячущим его ладонь, рукавом пиджака нервно искривлённый рот, затем точно так же, не глядя, протянул другую руку за спину, достал гитару и пристроил её у себя на коленях.

Он ударил по струнам, которые скрипнули, звякнули, но никак не зазвучали.

Играть он явно не умел.

Может быть, так, немножко. Приблизительно.

Он ударил по струнам – и вдруг запел, и даже не запел, а заголосил, потом сразу же перешёл на негромкий речитатив.

Гитару он держал то как гусли, то как балалайку. Она была скорее антураж, реквизит, нежели музыкальный инструмент.

Он произносил, полупел, говорил нам свои стихи:

– Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...

Он преобразился. Похорошел.

По его некрасивому, простоватому, маловыразительному лицу прошло вдруг видение красоты.

Прошло, но в глазах – осталось.

Кожинов смотрел на него задумчиво, с нежностью.

Битов растерянно моргал покрасневшими глазами.

Стихи рубцовские – песня, баллада, реквием, плач – звучали в тишине.

Мы внимательно слушали.

Стихи были действительно хороши.

Они жили, звучали.

Были они настоящими...

Потом Рубцов читал и другие свои стихи.

И мне они нравились.

Да и всем – на нашей стороне стола – нравились тоже.

Талантливый человек, это было ясно.

Кожинов победоносно поглядывал на нас.

Ещё бы! Рубцов – его, кожиновская, гордость, его открытие.

Его подтверждение собственных теорий.

Его фигура – в его, кожиновской, литературной игре.

А мы все, и особенно – мы с Горбаневской, – что мы?

Что мы – для него, стратега и тактика литературного, но ещё и практика, так сказать – матёрого, железного реалиста?

Посторонние люди, да и только.

Всем своим видом, всем поведением своим он это нам показывал.

Ну что ж, валяйте, стратег и тактик.

Торжествуйте, коли очень уж хочется.  
Так я тогда рассудил. . .”

Эта сцена поучительна многими моментами. В первую очередь, обращает на себя внимание то, что Алейников даже и не пытается изначально налаживать контакт с гостями, приведёнными Битовым. Можно было бы всё списать на вторжение “чужеродного тела”, на появление незнакомых людей. . . Но так просто не спишешь. Потому что перед СМОГистом Алейниковым, будущей диссиденткой Горбаневской и будущей женой Солженицына Светловой предстал не кто-нибудь, а “тот самый Кожинов”. С уже устоявшейся литературной и идеологической репутацией. И в этом кругу он если не лютый враг, то уж точно — “чужой”, со своей “чужеродной энергией”. Более того, эта “чужеродная энергия” начинает в глазах Алейникова превалировать над энергией его самого и энергией его друзей. И в каждом жесте, в каждом движении Кожинова он видит вызов самому себе.

Кожинов, естественно, не собирался бросать никакого “вызова”. Он, очевидно видя неловкость ситуации, пытается её сгладить единственным возможным способом. Он сам начинает диалог и просит почитать стихи. И в его присутствии Алейников, в кругу друзей — “гений” (наравне с остальными “СМОГистами”) — отпихивается от этого определения, тут же данного Битовым, ибо в присутствии Кожинова он испытывает нешуточный дискомфорт, видимо, зная, что при нём эти игры в “гения” тут же обнаружат свою межеумочность. Он не читает — он молчит. И Кожинов одаривает именинника, на свой взгляд, самым лучшим подарком. Он просит почитать Рубцова.

И стихи Рубцова покоряют всех. Кожинов, естественно, торжествует. Он одарил новых знакомых стихами подлинного, а не самодельного гения. Он счастлив оттого, что — в его глазах — атмосфера разрядилась и все вроде бы почувствовали себя в общем кругу. Но как бы не так. . . Алейников (я не очень верю в то, что именно подобные чувства он испытывал в ту минуту, скорее, он приписал их себе во время создания своего “мемуара”) видит в Кожинове “стратега и тактика”, одержавшего сиюминутную победу, представив окружающим русского поэта, очевидно (и это у Алейникова читается невооружённым глазом) имея в виду, что остальные, сидящие за столом, поэты “не русские”. . . Прямо скажем, это портрет Кожинова, сильно смахивающий на карикатуру уже весьма поздних времён, когда о нём стали уже не шептать, а писать и говорить в открытую, как о “стрателе”, проводившем в литературе свою “линию” чуть ли не с младых ногтей, и отказывая ему практически во всех человеческих чувствах. . .

“Потом читала Наташа Горбаневская.

Читала свои великолепные стихи шестидесятых, стихи — выражение сердцевинного времени шестидесятых, стихи, которые так бесконечно дороги мне.

И её слушали.

И Кожинов — напряжённо, внимательно — слушал.

И Рубцов — да куда ему было деваться? — тоже слушал. Наташа — поэт. И другого такого доселе — среди пишущих женщин — нет.

Потом читал я.

И меня слушали.

И Кожинов — заинтересованно даже — слушал.

И Рубцов — ревниво, насупившись, таким букой, не туда, выходит, попавшим, где его всегда привечали, но, поскольку здесь выпивка есть, тоже, вроде бы, слушал — не слыша.

Но слышал меня Битов. Инга Петкевич слышала.

Слышали меня — мои друзья.

Ну, а после того, как мы почитали стихи, взял гитару Вадим Кожинов и запел. Хорошо, душевно. Пел он вроде и сдержанно, тихо — да всё же с надрывом. Не без этого. Русские, старые — тактик, стратег, — или, может, главарь несветного лагеря? кто он? — ответа не ждите, не скажет никто и не знает никто, просто — вечером зимним хмельной человек, — романсы он пел. Захотелось, наверное, петь — вот и пел. Что же! Вольному — воля”.

Алейников противоречит самому себе. “Стратег” и “тактик”, нарисованный им, удовлетворился бы исполнением Рубцова и или сразу ушёл бы, увидя его с собой, или отстранился бы от “чужого” чтения. Но Кожинов слушал,



как слушал он со вниманием, напрягая слух, в течение всей своей жизни любого поэта, который взялся бы читать ему свои стихи... Конечно, ни Алейников, ни Горбаневская как поэты не годились Рубцову в подмётки. И Алейников это понял мгновенно. И это понимание, видимо, жжёт его по сей день, потому что в конце своего "мемуара" он не выдерживает. Он пишет, что у Рубцова "не русское мышление, не стержневое", что "сам строй стихов, сам звук – блёклый, белокровный, какой-то белёсый, синеющий, торфяной, каменистый, мшистый", чем обнаруживает свою собственную глухоту. Более того: "какая же это русскость, если это – другая кровь?" – задаёт он свой замечательный вопрос, который в голову не пришёл бы Кожинovu, но который Алейников всем строем своего сочинения ему навязывает... И, наконец, финал: оказывается, по словам Битова, Рубцов – "вепс", а по словам самого Алейникова – "алкоголик, псих и садист"... Ну, надо же было как-то притушить до сего дня сохранившееся очарование теми рубцовскими стихами и их исполнением, как и исполнением Кожиновым русских романсов...

Появление Андрея Битова в кожиновском кругу может сейчас показаться неожиданным, но для Кожинова это было тогда настоящей нечаянной радостью. Впрочем, об этом далее.

*(Продолжение следует)*